

Григорий Померанц

Быть самим собой

Около семидесяти пяти лет я пытался быть самим собой, не подчиняясь времени. Сейчас мне идет 92-ой год и мне хочется рассказать молодым людям, как идти на риск и ценой риска завоевывать счастье свободного творчества и счастье взаимной любви.

Когда провалился ГКЧП, я стал надеяться. Но оказалось, что после развала сталинской системы вылезли невидимые препятствия. Рабство не учит людей свободе и ответственности. Рабство учит ждать хорошего хозяина, а пока что бросать мусор под окно и оставлять непогашенные костры в сибирских лесах. С тех пор я не жду быстрых политических перемен. Прежде всего надо помочь людям найти самих себя, найти глубину, пульсирующую в ребенке и потерянную подростками, найти глубину, где живет совесть и иногда слышен голос Бога.

Глубина открывается по-разному. Александр Мелихов прекрасно описал, как она в шестнадцать лет восстала против закона стаи, мальчишеской орды, терроризировавшей окрестности, как глубина закричала: «не хочу, не хочу, не хочу...» Я в стае никогда не жил, в школе забивался в угол и воображал себя в прочитанной книге. Книги и научили меня искать самого себя.

Мне было пятнадцать лет, когда я стал читать Шекспира том за томом. И вдруг чтение меня пристыдило. Сперва Брут убедил народ (и меня тоже), что Цезаря надо было убить, – иначе погибнет римская свобода. А потом Антоний, расхваливая Брута, постепенно провел мысль, что Брут все-таки не прав и положение в Риме можно спасти только так, как это делал Цезарь. Какой стыд: и меня он тоже убедил. Неужели я так же глуп, как римская чернь? И я стал разбираться в своих откликах, подбирать то, на что можно опереться раз и навсегда. Потом я кое-что подобрал у Стендаля, например:

«Позиция автора имеет только один недостаток: каждая партия может считать его членом партии своих врагов». Это очень кстати было в 1934 году. Но что делать? Весной 1935 г. я закончил сочинение «Кем быть» словами: «я хочу быть самим собой». А в 1937-м написал Сталину: «У нас не так много врагов. Наша страна, как один оркестр, захвачена строительством социализма...» Хорошо, что Сталин такие письма не читал (иначе отправил бы меня, куда Макар телят не гонял). Но что делать? У трети студентов – комсомольские разборки за притупление и потерю политической бдительности. Арестован рядовой отец? Тогда притупление и выговор; а если всем известный, то потеря и вон из рядов...

Прошу извинения у друзей, которым я все уже рассказывал. Но мои выходы в эфир не до всех дошли, а книги – и подавно. Чтение Антония Сурожского показало мне, что больше всего убеждают примеры из личной жизни. И вот несколько примеров.

Я был совершенно не согласен с исключением из комсомола Агнесы Кун, потерявшей бдительность в отношениях с отцом, матерью и мужем. Ее подруги публично отреклись от нее, но она не смутилась и пришла в комитет ВЛКСМ со словами: я считаю поведение комсомолок Млынек и Шульман неправильным. Если они подозревают, что я враг народа, то им надо продолжать знакомство со мной и разоблачить. А если они уверены, что я не враг, то чего они боятся?

Ошеломленный секретарь комитета вызвал подруг Агнесы, отчитал их, и они явились к Агнесе с повинной. Аню Млынек Агнеса простила, а Фриду Шульман прогнала. Мне все это очень понравилось, и мы с Агнесой подружились. Собирались в единственной неопечатанной комнате с мебелью, изъятой в 1918 или 1919 г. у буржуев. Читали Тютчева, Блока. А оставаясь вдвоем, критиковали Сталина. Не может треть народа стать врагами народа. Так дойдет до половины, до двух третей...

Это было скрытое столкновение с линией партии. Потом пришло открытое, из-за Достоевского. «Записки из подполья» принято было ругать, а

я пришел от них в восторг и назвал свою работу «Величайший русский писатель». С заседания кафедры, где меня бранили, я вышел, хлопнув дверью. Слава Богу, это происходило не в 37-м или 38-м, а весной 39-го года, в короткую полосу усталости от террора. Отделался пустяками, но дорога в аспирантуру была закрыта.

А дальше началась война, и я пошел в ополчение; был ранен, довольно долго ковылял, прикомандировали к редакции дивизионной газетки с зачислением в трофейную команду. Команду вскоре расформировали, штатный литсотрудник погиб – и я получил свободу бродить по батальонам и батареям, как мне самому хочется. Редактор и секретарь редакции на передовых не показывались и видели меня только раз в две недели (приходил помыться в бане). Не слушаясь указаний редактора, я продолжал делать то, что считал нужным: статейки из боевого опыта, о воображаемых традициях нашей дивизии, ставшей гвардейской, и т.п. И когда война приблизилась к концу, решил завоевать эполеты: зашел в политотдел и попросил направить меня комсоргом стрелкового батальона. На этой должности всегда были вакансии.

Поверх всех ужасов войны я твердил про себя пушкинский гимн чуме и с Божьей помощью прошел сквозь чуму так, как хотел: с двумя ранениями, не считая царапин, и с двумя орденами. Но потом, в 1946 г., решил позлить начальство, чтобы меня скорее демобилизовали, и просчитался: наступила другая эпоха, независимость стала преступлением. Меня демобилизовали с волчьим билетом. Три года я был выбит из себя, слушался советов, апеллировал, стыдился того, что писал в апелляциях, и – поверить трудно, но это правда – я обрадовался, когда стало ясно, что вот-вот посадят. Это был вызов, на который можно было ответить по-фронтовому, и я как под огнем проходил через допросы на Лубянке, через столкновение с бандитом в лагере и т.п.

Фронтовые и лагерные привычки пригодились мне и позже, когда сложились некоторые возможности для свободного слова. Но мои попытки

растопить глыбу накопленного страха показали мне, что не на кого опереться. Были интеллигенты, но не было интеллигенции. Было мужество на войне, но не было гражданского мужества. Не хватало самособойности и нельзя было создать ее не уровне политических речей и самиздата. Надо было идти глубже, в тишину. И все меньше в моей жизни стало событий, все больше часов созерцания. Там складывались мои книги и томики стихов Зинаиды Миркиной. Затянувшаяся юность уступила место зрелости. Я сразу, с первой встречи, узнал духовное превосходство Зинаиды Александровны и принял это как своего рода исповедание веры, заменяющее мне церковь. Неудачи ученой карьеры обернулись удачами. Сложился мой личный стиль, без установки на общее мнение коллектива, отбрасывая академические условности. Семинар, который мы ведем совместно с З.А., стал нашим общим детищем и тем следом, который мы оставляем XXI-му веку. Этот след не допускает никаких застывших правил. Только одно: быть самим собой.